

## **«В РЕВОЛЮЦИИ Я ЧУЖДЫМ ЧЕЛОВЕКОМ НЕ БЫЛ...»**

Таковыми были последние слова писателя Андрея Новикова, написанные им в прошении о помиловании, отправленном на имя председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина в мае 1941-го. Однако милости он так и не дождался: Новикова расстреляли в самом начале Великой Отечественной войны, 28 июля 1941 года, за антисоветчину.

Конечно, это не единственная жертва репрессий 1930-х годов прошлого столетия. И Новиков просто затерялся бы в огромном скорбном списке. Если бы не несколько «но»...

### **ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ...**

Андрей Никитич Новиков родился 18(30) декабря 1888 года под Воронежем, в селе Семеновка. Сын бедняка-крестьянина, он начал свою трудовую жизнь пастушонком, затем прошел тернистые пути чернорабочего, был землекопом, дроворубом, грузчиком.

Призванный на действительную военную службу в 1914 году, Новиков оказался в составе армии Самсонова, бесславно сгинувшей в Мазурских болотах Восточной Пруссии (впоследствии то, что пришлось пережить в окружении, станет основой для романа «Ратные подвиги пракаков»). В июле 1917 года, когда Временное правительство Керенского расстреляло мирную демонстрацию питерских рабочих, солдат и матросов, он вступил в партию большевиков.

После Великой Октябрьской социалистической революции Новикова, члена солдатского комитета полка, командировали в город Балаково Самарской губернии для помощи в установлении Советской власти.

### **...В ЗАШТАТНЫЙ ГОРОД**

В Балакове Новиков становится одним из руководителей штаба Красной гвардии. О первых днях Советской власти и о ее борьбе со своими противниками Андрей Никитич напишет в 1929 году повесть «Летопись заштатного города». А опубликована она будет через четыре года в сборнике «Родословная многих поколе-

ний», а потом, спустя несколько десятков лет забвения, в саратовском литературном журнале «Волга-XXI век», в сдвоенном номере 11–12 за 2008 год по инициативе и с предисловием автора этих строк.

«Летопись» хоть и основана на реальных событиях, но написана с долей юмора. Ведь строить новое, социалистическое государство приходилось рабочим и крестьянам, а они были людьми малограмотными и, отчаянно и бескомпромиссно сражаясь за свои права, порой строили фантастические планы.

## ПАРОВОЗЫ ПО ВОЛГЕ

*«В полусне мы бредили неразрешенными вопросами, стоящими в повестке дня. Мы думали об устройстве трамвая, о проложении 25-километрового железнодорожного пути по льду от Балакова до Вольска.*

*Мысль о прокладке железнодорожного пути по Волге преследовала нас, и десятка два заседаний мы посвятили этому вопросу. Мы имели намерение этим путем отправить пшеницу, чтобы навсегда укрепить революцию. Нами была выслана для переговоров делегация к железнодорожникам, чтобы пшеницу обменять на паровозы. Железнодорожники пшеницу приняли, однако в отпуске паровозов нам отказали. А, впрочем, они, может, нам паровозы и отпустили бы, но мы спохватились, что по льду без рельсов нам не перевезти паровозов даже и на лошадях».*

## ЧАПАЕВСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Как известно, становление Советской власти в Балакове происходило с активным участием будущего героя гражданской войны Василия Ивановича Чапаева. Новиков очень хорошо его знал и, конечно, не мог об этом не написать.

*«Вечером, когда мы сидели одни, Чапаев говорил о литературе, придавая разговору философский оттенок. Он не мог воспринять крыловских слов и возбужденно доказывал мне (хотя я не высказывал сомнения), что и пирожник может тачать сапоги.*

*— Басни я не люблю, — сказал он. — Несерьезное дело...*

*Он хотел что-то добавить, но почему-то переменял разговор.*

*— Был же Петр и плотником, и царем, — сообщил мне Чапаев.*

*Я еще раз улыбнулся чапаевской аналогии, но и этой улыбки он, кажется, не заметил.*

*— Я, брат, в мирной должности в тоске бы по винтовке умер, — говорил он мне.*

*— Да ведь ты не носишь винтовки: ты же вооружен револьвером и шашкой, — замечаю шутливо я.*

*— Ну, по оружию, — это все равно, — поправляется Чапаев. — Мне, брат, без оружия — смерть от тоски.*

*Он осторожно оцупал шашку, будто бы действительно стосковался по ней.*

*— И с оружием, на поле брани, — тоже смерть, — добавил Чапаев.*

*Он возил меня по городу и за город на тройке лошадей, запряженных в громадные ковровые сани, похожие на кибитку, и говорил словами Пугачева из «Капитанской дочки».*

*Мне казалось, что он принимает меня за сержанта Гринева — невольного своего спутника. Он три раза рассказывал мне сказку о вороне, и каждый раз в различных вариантах. Мы ехали по снежному полю, сани засыпала метель, и однотонно звенели бубенцы.*



Андрей Новиков

Чапаев иногда пел: «Не шуми ты, мать зелена дубравушка» и одобрял поэзию Пушкина. Моему воображению рисовались скиты, расположенные по берегу Ирги́за, от которого мы находимся так недалеко.

— Ворон 300 лет живет! — довел до моего сведения Чапаев и от радости гаркнул на лошадей.

Он не признавал тихого хода, и лошади бежали крупной рысью. Затем Чапаев пел о Ермаке, о том, что «ревела буря, и дождь шумел», но, оборвав песнь, пожалел о том, что Ермак преждевременно утонул в Иртыше.

— А Скобелева — того пули не брали, — сообщил Чапаев мне. — Погиб, дьявол, от бабы...

Мне казалось, что все стрелы неизведанного героизма пронзили сердце Чапаева, а долгая солдатская служба наложила отпечаток профессионала-военного: в его сердце совместились вольный пугачевский разгул, родственник революции, и творимые легенды о «суворовских геройских подвигах». Эти две силы двигали его смелость вперед...»

## ТРУДНОЕ ДЕЛО

Когда Советская власть в Балакове была установлена, Новикову поручают возглавить комисариат призрения (отдел социального обеспечения) при городском Совете народных комиссаров. Молодой человек взвалил на себя одну из самых трудных и не всегда благодарных обязанностей по оказанию помощи вдовам-солдаткам, инвалидам, сиротам и т.д. и т.п. Вот что он докладывал о своей работе участникам Второго Балаковского уездного съезда Советов крестьянских и красноармейских депутатов 12 мая 1919 года:

*«В Балакове организованы детские дома, патронаты для инвалидов и мощных стариков, а также дома для матерей и малюток.*

*В детских домах помещается 170 человек, в доме охраны материнства и детей имеется 25 детей и 8 кормилиц, в двух домах инвалидов помещается до 80 стариков. Еще больше труда положено на дело выдачи пособий семьям красноармейцев, семьям солдат германской войны, выдачи суточного довольствия красноармейцам, отпущенным со службы навсегда по болезни. Сумма выдачи пособий в настоящее время превышает 1 млн. 100 тыс. руб. Еще сложнее работа в пенсионном отделе, т.к. до последнего времени не было определенных директив из центра. Поэтому часто мы были поставлены в тяжелое положение. Но теперь работа налажена в уездном масштабе и в будущем она будет протекать в полном порядке».*

Новиков выступает с инициативой по открытию в Балакове «сада для гуляния части публики при Советском доме» и сам же проводит свою идею в жизнь. Одновременно он исполняет обязанности управляющего делами Балаковского Совнаркома.

В Балакове Андрей Новиков впервые пробует перо: пишет заметки в местную газету «Известия», которая с 1920 года стала называться «Красный набат», а по «производственной необходимости» иногда и возглавляет редакцию. Здесь же Новиков публикует свой первый рассказ и занимает первое место в конкурсе начинающих авторов. Это и предопределило его дальнейшую судьбу.

### «ТУМАННОСТИ» НОВИКОВА

После Балакова были Воронеж, Иваново, Брянск, наконец, Москва... В 1928 году Андрей Новиков выпустил свой первый сборник «Барский двор», тепло встреченный критикой и читателями. Затем он пишет свою первую сатирическую повесть «Причины происхождения туманностей», разоблачавшую приспособившийся к новым социальным условиям бюрократизм. Чтобы ее опубликовать, пришлось обратиться за помощью к Максиму Горькому. Благодаря поддержке знаменитого пролетарского писателя повесть была опубликована в журнале «Красная Новь», а затем вышла отдельным изданием.

«Туманности» были замечены, и в «Литературной газете» появилась рецензия под многообещающим названием «На пути к возрождению сатиры». Ее автор, А. Лежнев, называет сатиру Новикова «несомненно талантливой, а местами очень острой и меткой». «Особенно хороши эпиграфы из никогда не существовавших авторов», — отмечает он и приводит пример:

«Если в жизни ты бредешь узкой тропинкой, да будет благословен путь твой: ибо каждая корова, возвращающаяся из стада, бредет тропой своею». Нина Рытова «Записки простодушной путешественницы».

В то же время Лежнев упрекал писателя в том, что его главные герои — анархисты: они отрицают «организационное начало». И этот «недостаток» журналом «На литературном посту», рупором ассоциации пролетарских писателей, был возведен в степень: Новикова обвинили чуть ли не в контрреволюции. Эту позицию четко объяснил критик В. Блюм на страницах «Литературной газеты». По его мнению, «продолжение традиции дооктябрьской (дореволюционной — Ю.К.) сатиры становится уже прямым ударом по нашей государственности, по нашей общественности».

Однако до зачисления Новикова в изгой было еще далеко. Тем более, таких, как он, в то время было немало: Борис Пильняк, Михаил Зощенко, Андрей Платонов. И сбросить их всех скопом с корабля литературы было не так-то просто.

### НА ПЕРЕЛОМЕ

1930 год дал лозунг: «Писатель — на стройку!» Делом чести литератора было освещать трудовой прогресс в промышленном и колхозном строительстве. В начале года на страницах «Литературной газеты» промелькнуло сообщение, что бригада газеты «Правда» в составе Бориса Горбатова, Андрея Новикова и Ивана Катаева отправляется на село. Целью поездки было написание очерков и статей о коллективизации.

Новиков побывал в Самойловском районе Балашовского округа Нижне-Волжского края (теперь это Саратовская область). В своем небольшом интервью в «Литературной газете» он писал:

*«Первое, что поражает, — это непрерывное массовое движение: закрываются церкви, свозится в определенное место обобществленный сельскохозяйственный инвентарь. Открываются ясли. Поспешно проходит подготовка кадров. В церквях, приспособленных под клубы, проходят соответствующие вечера.*

*Все это движение лично мне напоминает 1917–18 годы, и интересно оно тем, что такое время почти мне неповторимо: ломается все, что только вчера казалось прочным».*

Результатом колхозного «десанта» стала книга очерков «Гоночное поле».

## СОПРОТИВЛЕНИЕ БЕСПОЛЕЗНО

Андрей Новиков входил в литературную группу «Перевал», в составе которой были такие известные писатели и поэты, как Михаил Пришвин, Андрей Платонов, Эдуард Багрицкий, Артем Веселый. «Перевальцы» ратовали за раскрытие внутреннего мира, его новое эстетическое оформление и самовыражение писателя. Эти, по сегодняшним временам, совершенно безобидные творческие принципы вызывали гневное осуждение со стороны литературной и партийной номенклатуры.

В начале 1930 года в «Комсомольской правде» появилась статья под мрачным названием «Непогребенные мертвецы». Ее автор, М. Гребенников, обвинил «Перевал» в ориентации на кулачество и городскую нэпманскую буржуазию и объявил его реакционнейшей литературной группировкой, выступающей против пролетарской литературы. Пришлось отбиваться.

В «Литературке» появился ответ на обвинение, подписанный, в том числе, и Новиковым. «Перевальцы» назвали статью пасквилем и недостойным выступлением, которое затрагивает «и всю нашу литературную общественность в целом».

Впрочем, отбиваться уже было бесполезно. Большевистскому государству нужна была единая литература под флагом социалистического реализма, и «Перевал» и другие не соответствующие партийной идеологии творческие организации только мешали.

Принимая это как неизбежность, «перевальцы» один за другим стали выходить из своей организации. В 1931 году об этом, через «Литературную газету», официально заявил и Новиков (заметка называлась «Решительный шаг к возвращению в ряды революционной литературы»). А еще через год, после выхода постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», «Перевал», как и другие «чуждые» литературные группировки, и вовсе перестал существовать.

## С ИНДУЛЬГЕНЦИЕЙ ОТ «ПРОЛЕТАРИАТА»

Заручившись поддержкой «революционной литературы», Андрей Новиков через три года выпускает книги: «Ратные подвиги простаков» и «Родословная многих поколений». Последняя состояла из «Повести о камарницком мужике» (о крестьянском восстании при Екатерине Второй), уже названной выше «Летописи заштатного города» и рассказа «Встреча у колодца» (о новой колхозной деревне). Экземпляр «Родословной» хранится в архиве А.М. Горького. Он снабжен цветными карандашными пометками. Значит, «организатор советской литературы» следил за творческим ростом писателя, которому дал «путевку в жизнь».

Смоленское издание «Повести о камарницком мужике» (1936) было последней вышедшей в свет книгой Новикова. Но писатель выступил еще раз, в 1939 году, с тремя рассказами, в том числе «У памятника» (о братьях Чапаевых), на страницах журнала «Колхозник».

Возможно, в писательском «портфеле» Новикова хранились и другие произведения, но опубликовать он их не успел. «Карающая рука пролетариата» все-таки достала писателя, который не шел нога в ногу с послушной армией литераторов.

Поводом для ареста Андрея Новикова стал тост «За гибель Сталина», произнесенный им 1 декабря 1939 года во время дружеского застолья у него на квартире. За столом были хорошо известный писатель Андрей Платонов и менее известный Николай Кауричев. Все трое жили в общежитии литераторов. Оно размещалось в доме № 25 на Тверском бульваре, который впоследствии был назван в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Домом Грибоедова.

Незадолго до этого был арестован бывший «перевалец» Иван Катаев. Посадили за решетку пятнадцатилетнего сына Андрея Платонова. Это обсуждалось за столом. Во время горячего диалога у Новикова и вырвался злополучный тост. Кто-то об этом узнал и донес в НКВД.

Сначала, буквально накануне нового, 1940 года, 31 декабря, был арестован Платонов. Понимая, что отпираться бесполезно, он подтвердил «вину» Новикова и заявил, что выступил против его тоста:

«Я ответил, что за это пить не буду никогда, что без Сталина мы все погибнем, что, наконец, я не такой глупый и темный человек, чтобы свое глубокое несчастье (арест сына) переносить на свое отношение к Советской власти».

Новикова арестовали в январе. Главное обвинение: «В последнее время... на собраниях в кругу своих близких людей высказывает террористические настроения против руководителей партии».

Новикова и арестованного следом Кауричева обвинили в создании враждебной антисоветской группы. Затем об обоих на какое-то время забыли. Сидя в тюрьме, Новиков заболевает туберкулезом и, устав от долгого ожидания своей участи, пишет письмо Сталину с просьбой о снисхождении, т.к. во время произнесения тоста был «бесчувственно пьян».

Еще через полгода, накануне войны, Андрей Никитич обращается с той же просьбой к прокурору. В конце письма — странная приписка: «31 марта 1941 года мною открыт закон вечного движения. Подробности я описал в двух письмах моему следователю Адамову. 4 мая он вызвал меня по означенным письмам, мы набросали схемы, и он сказал мне, что будет доложено. Не имея других возможностей о заявлении своих прав на открытие, я прошу Вас ознакомиться с копиями означенных писем и иметь их в виду...»

Уж не сошел ли он с ума?.. Вероятно, из этих соображений, письма об «открытии» из дела были изъяты. Их заменил расстрельный приговор военной коллегии Верховного суда...

Юрий КАРГИН

\* \* \*

### I

**У** нас, в Климовке, мужика бабой звали. Не то, чтоб у него какие бабьи приметы были, — нет. Прозвал барин, а народ подхватил: Миша-баба да Миша-баба. Нравом он был тихий, услышит — застыдится, промолчит.

Боялся народа. Летом часто, скрываясь от людей, уходил в огород. Сядет под тень тополя, трубку курит.

Не любил господ и кума своего — Агапки. Агапка — насмешливый мужик. Пьяный приходил в избу, садился на лавку.

— Кум, Мишка! Рассказать?

Дедушка Мишка вынимал из зубов трубку. Ворчал:

— У... у... у... дурак, право слово.

А в кабаке все же с Агапкой вместе ходили, и в кабаке Агапка вновь потешался:

— Кум, Мишка, рассказать?..

У дедушки Миши слезы навертывались, язык заплетался.

Агапка вначале хохотал, затем повелительно стучал кулаком о стол:

— А за что, спрашивается, ты не любишь меня? Кум я тебе аль нет?

Дедушка Мишка опускал голову, надвигал шапку на глаза, перебирав губами:

— Куманек, милый, я тебя люблю. Ей-богу люблю...

Агапка наливал водки. Плевал в стакан. Водка покрывалась белой пеной слюны. Размешивал заскорузлым пальцем.

— Любишь — выпей.

Дедушка Миша пил. Руки дрожали, глаза блистали. Морщился. Противно.

Смотрел Агапка — злился и кричал:

— Косоротись? Гребуешь, сволочь! По-праведному барин тебя бабой прозвал. Верхом не умел ездить. На серу кобылу с канавки прыгал!

Агапка злился, трясучей рукой наливал стакан водки, выпивал его духом и, разглаживая грудь, говорил мягче:

— Купил отец его гнедую кобылу. Шустрая лошаденка. Надумал кум Мишка прокатиться верхом. Подсадил я его за ногу. Взвалился он лошади на спину. Ногами задрыгал. Лошадь понесла. Упал — нос своротил. Глядь — барин. Баба, говорит, ты...

Когда Агапка говорил, дедушка Мишка тянул трубку, отдувал сизый дым. Сколько горести принесло в молодости насмешливое барское слово. Любимая девка, Ольгушка, тогда же заплакала:

— Нешто я за него пойду-у-у-у, за бабу-у-у-у...

Женился он на другой. Девка была до того ряба, — будто черти на ее лице горох молотили.

Всю жизнь казалось, что люди только и делов делают — губами перебирают: баба. Запил с тех пор дедушка Миша — напропалую запил и пил с недругом — кумом Агапкой. Уйдут, бывало, в кабаке, сдадут землю — пьют.

Поменяются кочетыками. Кочетыку цена копейка. Магарычей — четверть с носа.

В избе у Аннушки-шинкарки крестины устраивали. Агапка укладывал дедушку Мишу на задней лавке:

— Ты, кум-баба, роди-ка вот эту колодку. Она будет вроде ребеночка...

Сам Агапка засучал рукава, живот роженице правил...

— Я — повитуха...

Колоду крестили в ведре. После крестин водки полведра выставили: гостей созвали.

По утрам приходила рябая Евдошка — жена дедушки Миши — редела. Евдошка плакала, причитала, а Агапка подзадоривал:

— Ежели, кум Мишка, ты не баба, дай ей в харю!..

Дома, лежа на печке, дедушка Миша жаловался внучонку:

— Плохо, Савоська, жить в деревне. Никакой утехи в жизни нет. В городе лучше. Там, ежели в киятрах незаправдашную свадьбу разыгрывают — ничего. А твоя бабка за шутейские крестины поедом ест...

Опустит дедушка Миша голову, задумается, задремлет. Савоське не понять дедушкиного горя. И он даже потешался над ним. Вытащит тиш-

ком из кармана трубку, привяжет дедушке позادي за пояс. Захочет дедушка курить, полезет в карман — трубки нет:

— Савоська, ты трубку спрятал?

— Нет.

Пошарит по печке, поищет — не найдет.

— Ты, небось, спрятал, постреленок!

Схватит Савоську за уши, до боли оттянет.

— Да она, дедушка, у тебя за поясом...

Каждый день Савоська трубку прятал, каждый день дедушка искал.

Дедушка Миша не любил господам на глаза показываться. Поедет по улице барская тройка — прячется. Не доглядит сам — Савоська прибежит:

— Схоронися, дедушка, господа на железной телеге едут!

Раньше Савоська любил «железную телегу». Барыня, когда проезжала из церкви, пятаки медные бросала. Наденет бабушка на Савоську красную рубаху, выведет на улицу:

— Кланяйся барыне.

Савоська на поклоны был туговат, стоял столбом. Как-то бабушка нагнула Савоську силой. Он упал, носом запахал землю. Поднялся, схватил брошенный барыней пятак, размахнулся, бросил бабушке в лицо. Бабушка зажала рот. Из губ сочилась кровь. Савоську била веревкой.

## II

Рос Савоська, как и все деревенские ребятишки, — беззаботно: до семи годов без порток бегал, в лошадки играл. Задерет какому-нибудь мальчонке рубаху сзади, тот бежит, пятками сверкая, по лошадиному гогочет: и-га-га! После дождичка грязь месил, деготь делал. Заберется в лужу, кружится, разболтает — жидкость блестками подернется.

Просторно, вольготно житье детское! Взапуски в обгонки играли: кто обгонит — тот царь. В цари никого Савоська не пускал, хоть не обгонит, скажет — обогнал... Забиякой был Савоська. Раньше ребята по дедушке дразнили:

— Савоська — бабенок, Савоська — грязный нос...

Услышит Савоська, убежит домой, плачет:

— Через тебя, дедушка, и меня бабой называют.

Дедушка по заведенному порядку вынет трубку, вытрет рукой мундштук, отдует дым:

— Гу-у-у, дурак!

С тех пор, как расквасил бабушке Евдошке пятакком губу — посмелел. Встал раз Савоська утром — голова взерошенная, под носом черно. Вышел на задворки, Апроську соседкину увидел. Сидит она в лебеде, в куклы играет. Увидела Савоську, покосилась, встряхнула шершавой головой:

— Бабенок, бабенок!

Поковырял Савоська пальцем в носу, подошел, развернулся, ударил Апроську в ухо... Апроська плакала. Растопырила ручонки драться — не одолела. После Апроськи, — кто бы ни сказал «бабенок», — колотил всех...

Отучил дразниться ребятишек, до больших добрался. Проходивший как-то мимо Митька Гунявый обозвал бабенком. Савоська посмотрел вслед, схватил с заваленки кирпич, запустил Митьке в спину. Догнал Митька Савоську, да впору бабушка подоспела — разняла.



— Поделом тебе, Гунявый пес, не дразни малого.

Рос он без отца, без матери, без присмотра, каждый день озорничал. Кто гнев в парне разбудил, кто вложил в душу буйство, — не понять.

Сам Савоська понимал. Часто тосковал по матери, по отцу. Хотелось, чтобы мать погладила по головке, прижала к груди, поласкала. Чтобы отец, как прочих мальчишек, посадил на лошадь верхом, полакомил пряником, привезенным с базара.

Но отца с матерью дома не было: на барском дворе, в бараках, жили. Каждый день хотелось увидеть маму, но господу строги. Шалунов-мальчишек ноги на барский двор не пускали.

Не одну попытку сделал Савоська, к амбарам подходил. Собаки злые, кусались. Подолгу издали смотрел Савоська на барский двор. Заманчив: крыша дома зеленая, конюшни каменные, сад... Небо голубым колпаком опустится за садом, в колпаке — бугорочками, уступами — тополя, сосны. Взглянет — не ответит глаз.

У канавы взбирался на макушку ветлы, подолгу всматривался в крыльцо барского дома и, когда появлялась на крыльце баба в синей юбке, надрывался во всю мощь, махая ручонками, кричал: «Мама! мама!»

Баба в синей юбке шла к колодцу, набирала полные ведра воды, никогда не слышала Савоськиных слов: расстояние большое.

Савоська соскакивал с ветлы, ложился в канаве на траву — плакал.

Наплакавшись, шел полем в барскую рощу. Покувыркается в траве, наберет сосновых шишек — разбрасает. Через рощу — тропинка в сад. Перескочит ручеек, заберется в колючие акации, прислушается. Глянет — яблоки ядреные, румяные. Вберется на яблоню, потрясет за сук, яблоки о землю — тук, тук. Спрыгнет, подберет, наложит за пазуху — убежит. Идет по деревне, ребятишек подзадоривает, яблоко за яблоком бросает ребятам на захват. Ребята отнимают яблоки друг у друга, дерутся. Савоська смеется. Один раз не до смеху: садовый сторож закатил в спину Савоське из ружья солью. Щипало, жгло. Савоська плакал.

Надел портки — в пастухи отдали. Утром принесла мать на дворню сонного, поставила на ноги. Савоська упал на землю — спит. Подняла мать, поставила, держит за плечи — стоя спит. Сладок сон был. Солнышко выставило кровавой краешек, словно девка верхнюю губу закусил, — теплотой повеяло.

### III

Пастушья жизнь и горькой, и отрадной бывает. На барском дворе пастухов много. Кольке — конному пастуху — весело живет. Свинуху Ваньке — горько.

Пойдет Ванька вечером к девкам в сарай — не принимают.

— Уйди, паршивец, от тебя свиньями обдает.

Поплачет Ванька в уголке — спать пойдет. Жаловался матери, не поверила.

— Ничего, сынок, и свиньи — скотина полезная.

Савоське в первые дни без привычки плохо жилось. Гуси — колготная птица. Выгоняет — поднимают гвалт: — кага, кага.

Привык — стало лучше.

Когда выгонял с загона гусей, таратил глаза, смеялся. Гуси плотно жались друг к другу, и казалось, будто это не гуси, а снежная поляна, оставшаяся после зимы.

Загонит гусей в пруд, снимет рубашку, сам болтыхается в воде. Надоест, срезет хворостинку, дудки делает. Занятное дело и простое: надрезал кругом шкурочку, постучал слегка ручкой ножичка, чуточку повернул — сползла. Заложил отрезанный жербиек, заткнул другой конец, вложил в рот — заиграло.

Перестанет дудеть — в логу диких уток ищет.

Дикая утка — птица хитрая. Спрячет яйца — не найти. Спускается, будто в одном месте, а пойдешь на это место — пустота. Для отвода глаз спускается так. Спустится и убежит бегом туда, где яйца.

Беззаботно жил Савоська: во время обеда с ребятами играл, вечером — девичьи песни слушал.

В один жаркий день, когда солнышко третий пот с лица сгоняло, гуси переплыли на ту сторону, где посеяна пшеница. Савоська разделся, переплыл пруд, вышел на берег вернуть гусей. Смотрит — барыня на бричке едет. Шарахнулся в кусты — спрятался. Заколело, зажгло тело. Выскочил из кустов:

— Крапива! крапива!

Метнулся в пруд — пуще жжет. Выскочил — тело горело. Вздудись волдыри. Заплакал и голышом побежал на дворню к матери. На дворе смеялись рабочие. Прибежала мать. Подняла на руки, гладит по голове, смеется. Савоська плакал больше.

Мать спрашивает и вместе с рабочими хохочет.

Савоська рассердился на мать, на рабочих, плакал без умолку. Но с той поры, будто бы по зароку, не плакал.

Уснул как-то у пруда. Гуси вошли в пшеницу. Подъехал Афанасьич, — приказчик барский — соскочил с лошади, вырвал волос клоком. Савоська молчал. Затем он посмотрел на Афанасьича исподлобья, отбежал на несколько сажень. Когда Афанасьич отъезжал, Савоська шевельнул губами:

— Ладно, я тебе припомню.

Савоська взаправду припомнил. Выгнал раз гусей после обеда. Солнце пекло. Искупался в пруду, прилег под ветлочкой у плотины, смотрит. Гуси тихо-тихо плавают, а за ними вода как-то легонько в обе стороны полосками раздвигается. Поглядел немного Савоська на воду, грустно стало.

Набрал сухого помета, зажег спичку, костер развел. Разгорелся костер, жар подернулся седым пеплом.

Подъехал незаметно Афанасьич.

— Ты опять, постреленок, картошку воровал, а?

— Тут не картошка, это я так, жар развел.

Афанасьич глазастый человек — не обманешь его.

— Не хочется мне с лошади слезать, я бы надрал тебе уши.

Лошадь под Афанасьичем ногами топала, головой мотала. Свернул он кое-как сигарку:

— Разожги-ка конец пажы, дай мне прикурить.

Накалил Савоська конец палки докрасна.

— Прикуривайте.

Подав Афанасьичу палку обратно. Глядит Савоська — много жару на конце. Быстро что-то мелькнуло в голове. Еще раз посмотрел на конец палки — тлеет жар. Вспомнил обиду. В глазах зарябило. Ткнул горячий конец палки лошади под хвост. Лошадь вздернулась, прижала хвост, сложила кончик угля, понеслась во всю прыть по полю. Вылетел Афанасьич из седла, застрял одной ногой в стремях...

Посмотрел Савоська вслед, напугался бежать. Убежал в рожь к мельнице. Вечером Савоську нашли мужики: всем селом искали. Мать плакала. До жгучей боли хлестала веревкой.

— Мошенник! Афанасьича в больницу отвезли. Нас-то с отцом с барского двора прогонят...

Мать с отцом перешли к другому помещику, далеко от родной деревни, а Савоська больше возненавидел барский двор, барского приказчика Афанасьича.

Когда по деревне проезжала барская тройка, он уже не прятался, а выходил на улицу, закладывал в рот два пальца, свистал.

#### IV

В школе Савоська тоже был парнем задорным и драчливым. Где какого великана-мальчика во время переменок под ногу подшибет, а то малышу нос расквасит.

Учитель и ругал, и любил его. Любил за то, что в учении шел первым. Училище Савоська полюбил крепко.

В первый год учения, на Пасху, у всенощной с Макарой, Агапушкиным сыном, созорничали напропалую.

Афанасьич привез к заутрени освящать барский кулич, поставив его под лестницей, что ведет на колокольню.

Савоська локтем толкнул Макарку — вышли.

Вытащили кулич за ограду. Треугольником вырезали дно. Мякиш вытянули, попихали в карманы.

Кулич поставили на место. Стали господа разговляться. Разрезали кулич — ахнули. Вместо кулича — одни корочки. Старая барыня плакала, ругала Афанасьича. Когда приехал поп с иконами, — жаловались. Решили куличей больше в церкву не возить, а освящать их у себя дома, в субботу под Пасху.

Может быть, никто и не узнал бы, кто барский кулич съел, но Макарка в этот день проболтался ребятам:

— Мы с Савоськой барскую пасху выдолбили. Ой, скусная. Дюже скусная.

Лакомиться ребятишки любят. Если в школе один мальчик ел крендель, остальные слюни глотали. Савоська в школе сидел рядом с Гришкой, лавочниковым сыном. Гришка приносил то поджаристые крендели, то румяные пирожки, конфеты, пряники. Савоська, как и все мальчишки, глотал слюнки.

Слаб был Гришка по арифметике. Учитель напишет на доске задача — Гришка пялит глаза: не понимает.

— Подскажи мне, Савоська, крендель дам...

— Крендель да пирожок, тогда подскажу...

— Крендель да полпирожка.

Савоська не уступал, и Гришка не особенно упирался, совал в руку просимое. Савоська у себя на грифельной доске ставил неправильные ответы.

— Переписывай поскорее, пока учителя нет...

Гришка никогда не брал в толк: почему у Савоськи правильно, у меня нет?

На третий год учения Савоська к экзамену готовился. На страстной неделе все ученики старшей группы говели. Шел Савоська в церковь —

грязно. Промок. Выносили плащаницу. Обошли вокруг церкви, опять в церковь вошли. Стал Савоська позади барчука, своего ровесника. Они с отцом, офицером, всегда к Пасхе в деревню приезжали. Смотрит Савоська барчуку в спину — одет хорошо: пальто синее, на хлястике пуговицы блестят. На ногах не ботинки — зеркало. Уткнул Савоська голову вниз, на свои лапти посмотрел. Потрогал барчука за пуговицы, тот оглянулся, кивнул строго головой:

— Чего лапаешься, дурак?!

Савоська тоже кивнул головой — язык показал.

Затем думал о том, как хорошо быть барчуком, хорошо надеть бы и ему, Савоське, синее пальто с золотыми пуговицами. Хотелось увести барчонка куда-либо в огород и как следует поколотить, а затем одеться в его пальто, пройти по улице. Думал о том, что если барчук захочет, может сразу съесть фунт конфет и целую банку варенья. Много разных дум пронеслось. Кто-то постучал по плечу. Обернул голову — свечка. Повертел Савоська в руках свечку: белая, толстая опояска, золотая наискосок. Посмотрел на затылок барчуку — голова гладко стрижена. Застучало, запрыгало сердце. Захотелось неизвестно чего, со всего размаха хватил барчука свечкой по голове:

— «Миколу Милостивому...»

Раздробленная на мелкие кусочки свечка, повисшая кусочками на фитиле, осталась в руке Савоськи. Барчук взвыл. Подошел сторож и сердито потянул Савоську за ухо. Отец Тихон вышел из алтаря и поманил пальцем.

Долго стоял Савоська в алтаре на коленях, отбивал земные поклоны. Когда батюшка вышел из алтаря с сосудом, выбежал и на другой день не пошел причащаться. Из школы исключили.

Дома секли веревкой. Секли без потуги, нехотя, как по обязанности:

— Дурака как ни бей, всей дури не выбьешь.

## V

Провожали Савоську всем селом. Бабы собрались послушать, как Макринка, Савоськина мать, голосить будет, мужики — поглазеть. Телега с Савоськой скрылась в ложине, Макринка выла. Бабы утешали.

— Макрина, будя, будя плакать, не в могилу провожаешь. Авось вернется. Под старость, глядишь, кормить будет.

С Макринкой вместе шел народ обратно в хату.

— Нету сил моих, бабочки. Знаю, что дурак дураком он, ни к какому мужицкому делу не приспособлен, а вот жаль. В своей утробе выносила. Ум, разум прочила.

— Ничего, Макринка! Ученье ему дается легко. Может, и выучится. Постройте тогда кузницу под горой, перестанешь ты по кухаркам ходить. Чай с кренделями каждый день пить будешь. Земли у нас мало, и толку от нее никакого. Мастеровому человеку лучше.

Земля — заостренный клин в мужицкой голове. Стоило бабе шевельнуть языком о земле — в разговор влипли мужики. Мишка Черный покрутил усы, тяжело вздохнул.

— Земля нам ой как нужна! Без земли — омут. Приколыша для привязи теленка заколотить негде. Без земли нужда задавит. Вчера телок Ефима вошел на барский двор, а Афанасьич приказал его вместе с телком в катух запереть. Просидел там он до обеда, принесла жена выкуп — вы-

пустили. Погнал Ефимка телка домой, а Афанасьич в насмешку собаками травит: фитю, фитю. Ефимка бежать, а собака за лытку — цап. Портки изорвала и ногу укусила.

Когда мужики и бабы расходились по домам с думкой о земле, дедушка Миша с Савоськой, слегка покачиваясь от легких толчков, ехали по барскому полю. Телега дрыгалась. Савоська подпрыгивал в задке на соломе, мысленно прощаясь с родной деревней, ехал в город. Он думал о другой жизни, до сих пор ему неизвестной. Дедушка же Миша думал о старом, о тяжелом прожитом времени. Барское поле. Вдоль и поперек исхожено оно по полоске за сохой и пройдено широкой саженью, с крюком в руках в страдные жаркие недели. Сорок годов из года в год дедушка Миша бывает на барском поле: пашет, косит. Господа за благодетелей слывут. Зимой нет хлеба — слова барыня не скажет: за пять пудов, выданных зимой, десятину вспаши, посеи, окоси, снопы свози. К дедушке Мише господа придиричивы:

— Ты, Миша-баба, пьянствуешь. Не след бы тебе давать. Жалко вот только ребят твоих.

Возьмет подработку, протянет месяц с пятью пудами, опять идет на барский двор. В конторе робко переступает с ноги на ногу, трясется шапка, взятая в руки, и робко шевелится язык.

— Барыня, не оставьте вашей милостью: еще десятинки две под работу.

И, проезжая по полю, крепко думу думал о барской земле:

«Вот эту десятину годов пять тому назад отработывал. Ух, и урожище был, пропади он пропадом!»

Подумавши, дедушка Миша улыбнулся, кивнул головой Савоське.

— Когда вот эту десятину косил, чуть Афанасьича крюком не оглушил. Приехали мы с твоей матерью косить. Жарища — страх какая! А меня лихоманка в три погибели гнет. Надел шубу — не греет. Накинул еще халат — знобит. Выкосил кое-как клинушек, завел лошадь, отпряг. Мать твоя ругается: «Что же ты это, батюшка, ежишься, выгрыз, как мышь нору, и жмешься. Этак мы проездим недели две». — «Что же, говорю, Макрина, делать? В болести один господь волен». Побренчала она и умолкла. Зайду я на ряд, махну крюком, — ребро за ребро заходит. Крюка никак не сволочу... Этак промучился до обеда, гляжу, Афанасьич скачет. «Что это ты, говорит, одевши косишь. Люди уже по половине десятины скосили, а ты и ряда не прошел. Вся рожь уйдет». Дальше — больше, не унимается: «Баба ты», — говорит он мне. Я схватил крюк да за ним: «Ах, говорю, черт полосатый, сейчас тебе брюхо на халат переделаю». Как он тронет лошадь и от меня. К вечеру приказали мне с поля убираться вон. После этого года два подработку не давали.

Рассказал дедушка и на Савоську посмотрел. Словно хотел спросить: «Ну, как ты, Савоська, думаешь, ведь не баба я, а?»

В разговоре незаметно поравнялись с барской рощей. В конце рощи — груды кирпичей, поросших лебедой.

— Тут когда-то барский дом стоял, а невдалеке — климовский поселок. Вместе с барским двором перенесен был на новое место и поселок.

За рощей — Собачий Курган.

Стоит он на рубеже барской земли, а неподалеку столбик врыт. Когда Савоська бывал в ночном, страшные рассказы слышал про курган. На кургане горели ночью огни. Чем темнее ночь, — ярче огни. В разных фигурах видел Савоська эти огни: со сланцев — огненным петухом, с верхнего мыса — малюсеньким огненным жеребенком. Говорили в ночном, что

каждый год на Пасху из этого кургана выбегает безголовый человек, бежит вдоль реки — плачет. Будто бы один раз шла мимо кургана баба. Из кургана выскочил безголовый человек. Пробежала баба десять шагов, вскрикнула и упала замертво от разрыва сердца. Увидел Савоська курган, вспомнил о безголовом человеке, по спине пробежала дрожь. Затаил дыхание, уткнулся головой вниз. Думает, что когда поднимет голову, увидит безголового человека.

Дедушка Миша замотал вожжи на угол телеги, достал из кармана кисет с табаком. О гряде телеги выбил трубку. Затем как бы вспомнил о чем, засуетился, сунул трубку под мышку, тяжело вздохнул, снял шапку, перекрестился:

— Много костей в этом кургане. И гнилые они теперь, как труха. Мой дедушка тут вместе с мужиками зарыт. Вот там, где кучи щебня — старый барский дом был. Жила тут барыня, вдова, — лютая, прелютая. Не барыня — ведьма. Это годов за десять до воли было. Думали мужики о воле, а барыня злее становилась. Была она раз у другой барыни в гостях и увидела там ученого кобеля.

Та барыня уже старой была, а наша — молодой. Продай, говорит наша барыня, собаку мне. Ну, и купила. Отдала за него покойного моего дедушку да другого мужика. Пробыли мужики у той барыни год, убежали домой. Скрывались дней пять. Увидели раз этого кобеля вот на этом кургане, подозвали его к себе, да цап дубиной. Узнала барыня, что кобеля ученого убили, всех мужиков — к допросу:

— Кто убил, говорите?

Мужики молчат. Тогда она приказала дворовых мужиков розгами пороть. Мужики уперлись: «Не по-праведному, барыня, за собаку крещеных пороть, не по-божески».

Кинулись было дворовые на мужиков, а мужики им лупцовку задали. Барыня — в город. Через два дня солдат пригнали. Постояли мужики за правду, да вот и сложили сорок пять голов. Барыня приказала яму вырыть на кургане и зарыть. А курган, для почести, назвался собачьим.

Жадно слушал Савоська рассказ. Глаза его быстро-быстро мигали. Этот рассказ он слышал не впервые. Но теперь он как-то почувствовал его по-иному, по-разумному.

Дедушка Миша еще раз тяжело вздохнул и дернул за вожжи:.

— Но, матушка, но!

## VI

У избы Мишки Черного собрались мужики. Сидя на завалинке, курили. Черный с базара приехал.

— В городе, ребятушки, слобода. Ходит народу тьма-тьмущая, кричат, ругаются. Слобода полная.

Подошел к мужикам дедушка Миша, сел на завалинку. Знали мужики, что он вчера только вернулся из города.

— Ну, что же, отыскал?

Дедушка Миша затыкнулся дымом, вытащил из зубов трубку, захлопал глазами, слезы пробороzdили щеки.

— Как в воду канул. Хозяин сказал, что год уже, как от него ушел на завод, а на заводе ответили: «Выбыл неизвестно куда». Жалко малого. Начитанный был. Бывало, и домой-то на праздники придет, все с книжками сидит. Плачет мать, убивается. Шутка ли — два года нет.

Дедушка Миша чаще заглопал глазами и вытер слезы заскорузлой рукой. Повздыхали мужики. Потужили о Савоське. Интересовал больше разговор о городе. Перевели разговор о свободе, засыпали Черного вопросами:

— Кто же эту слободу делает?

— Черная сотня.

— Черная сотня, говоришь?

— Да.

— А что же она — черная сотня?

— Грабит.

— Ну? Эка здорово. Грабит! Кого же она грабит?

— Господ грабит. Жидов грабит.

— Жидов-то зачем грабить?

— Где я ночевал, старуха рассказывала: жиды с господами царя собирались убить. Потому, дескать, у господ царь землю отнять хочет да нам, крестьянам, отдать. Вот черная сотня и поднялась за царя.

— Ишь, мошенники. Жалко землю отдавать, а они царя убить, а? Так-то вот и освободителя убили. Он волю дал, его бомбой — хлоп!

— Бить сукиных детей, на осину вешать!

Мишка Черный, охваченный задором, захлебывался собственными словами, горячился, частил:

— Крашенин хутор сожгли. Мануйловых господ спалили. Землю мужики делят.

— И по многу досталось?

— Три десятины на душу в каждом клину.

— Чего же мы глядим, а?

Дедушка Миша все время молчал. Когда же подошли близко к вопросу о земле, не вытерпел.

— С землей, ребятушки, любо. Барская земля — дыня. По большому шматку достанется. Луговина — под покос, пласт — под пастбище.

— Про то сами знаем. Ты вот, коль что в городе слышал, об этом поясни.

— В городе заводы не работают. Гонят рабочих казаки в завод, а они не идут, все про свою слободу толкуют. Есть слух, что поезда скоро перестанут. Мне один городской человек сказал: «Остановим поезда, и хоть сам царь поезжай — не повезем!»

— Ишь ты, неужели и царя не повезут?

— Знамо, не повезут. Такой закон у них: забастовали — всему баста!

— Любопытная штука. Но как же царя-то не повезут? Царь он аль нет?

Дедушка Миша осмелился встряхнуть головой, загорячился.

— Что царя! Может, и его, как губернатора. Губернатор ехал, а ему бомбой под карету — раз. Рвануло бомбой так, — карета в кусочки разлетелась. Лошади одной целиком ногу отхватило. Металась, металась, сердешная, по улице, хлопнулась и сдохла.

— А губернатор?

— От губернатора мокрота одна. Карету — в кусочки, а на каждом кусочке — губернаторская кишка.

— Нешто губернатор супротив царя шел?

— А шут их там разберет.

Мужики, опустив головы, на минуту замолкли. Но землей подзадоривалась мысль. Мужики глотали слова о земле, как спелую малину.

— Что слышно про землю?

— Землю, ребятушки, берут, только стражники...

— Что стражники?

— Подлый народ.

Дедушка Миша повел глазами в сторону своего брата Фомы, заморгал, провел рукой по острой жиденькой бородке.

— Подлый народ — стражники. Нечего греха таить, про своего родного скажу. Не жалеют, сволочи, своего брата. Шел я в город. Вижу, на синицынский барский двор мужики едут. Спрашиваю: «Куда это, старички, господь вас несет?» — «Нешто не видишь, — говорят они мне, — барское добро делить едем. Хочешь, поездим, посмотришь». — «Нет, говорю я, время нету: иду в город внука разыскивать». Отошел я так примерно версты полторы, смотрю — навстречу мне отряд стражников верховых. Один подъехал ко мне и говорит: «Ты что, разтуды твою туды, бродяжничаешь?» Говорю: «Я из села Климовки, в город иду». Ну, ничего, отъехали. Встал я, пошел. Прошел малость, оглянулся назад — барский двор полыхает: дым черный, клубами, а огонь будто язычками небеса лижет. Немного погодя стрельба завязалась. Напугался я. Упал лицом вниз около переезда, прижался к полотну железной дороги — ни жив, ни мертв. Слышу, что-то возле меня громыается. Поднял голову — на телеге мужик, а за ним — верховой стражник. И все мужика кнутом, кнутом... Въехала лошадь на переезд, а мужик упал с телеги и прямо на меня катится. Стражник слез с коня, за ним. Лежу я ни жив, ни мертв. И как-то открыл глаза — глазам не верю: стражник-то — зять брата моего Фомы — Федька. Я сразу посмелел: «Что же, говорю, Федор, ты делаешь, своего брата мужика-то порешь? Креста на тебе, что ли, нету?» Он оглянулся назад да как вылупит на меня глаза: «Твое, говорит, дяденька, счастье, что наши твоих слов не слышали. Запороли бы тебя плетью, насмерть запороли бы...»

